

**Владимир
МАЗАЕВ**

ПЕЩЕРА

Повесть



Знаменитый Чуйский тракт вьет и вьет свои бесконечные петли. От этого однообразного кружения клонит в сон. Лида, привалившись к соседке, дремлет. Открывает она глаза оттого, что автобус, замедлив ход, ныряет в ущелье. Они едут по бому – узкой каменной полке, вырубленной в отвесной скале. Внизу шумит вспененная Катунь. Смотреть туда страшновато.

Далеко впереди в тесный коридор дороги вытягивается стадо. Шофер тормозит впритирку к каменному барьерчику, отделяющему дорогу от пропасти, глушит мотор. Ничего не поделаешь, такой порядок, надо ждать, пока пройдет стадо.

Первыми идут сарлыки. Маленькие горбатые животные косятся на машину, раздувают ноздри, хрюкают, как свиньи. На брюхе шерсть длинная, до земли. Они жмутся к скале, однако подгоняемые бичами погонщиков, галопом проносятся мимо машины.

Потом пошли овцы. Впереди вожак – крупный, с мощными рогами баран. Рога оттягивают голову назад. Шагах в двадцати от машины он останавливается, испуганно озираясь. Вместе с ним стоят, как загипнотизированные, передние овцы. Отара сзади напирает, и вожак упрямо бо-

роздит копытами дорогу. Погонщик далеко. Его лошадь, затертая живой массой, не может ступить шагу.

У сидящих в автобусе в недобром предчувствии сжимается сердце.

– Дурак! Трусливый дурак! – наивно тараторит Лида соседка. – Рога нажил, а ума нет! Трус рогатый!..

А отара все напирает. Погонщик спрыгнул с лошади и по спинам животных пытается пробраться вперед. Овцы испуганно блеют, задирая морды. Баран затравленно вертит рогатой башкой, глаза его наливаются кровью. Шофер запоздало нажимает на стартер, чтобы сдать назад. «Не надо!» – кричит погонщик.

Но уже поздно.

Баран, испуганный взревом мотора, кидается влево к скале, потом вправо к барьеру и неожиданно, с коротким пронзительным блеянием, перемахивает барьер, исчезает под обрывом. Лида соседка вскрикивает, закрывает руками лицо.

И тут начинается самое страшное. Овцы, фанатично следуя за вожаком, начинают одна за другой перемахивать барьер.

МАЗАЕВ Владимир Михайлович родился 12 мая 1933 года в селе Васильчуки Алтайского края. Прозаик. Окончил государственный педагогический институт. Автор более 20 книг прозы. Печатался в журналах: «Звезда», «Москва», «Наш современник», «Сибирские огни», «Советская литература» (на чешском языке, г. Прага), «Огни Кузбасса». Участвовал в сборниках: «Рассказы. Молодая проза Сибири» (Новосибирск, 1968), «Сибирский рассказ» (Новосибирск), «Смотрю в твои глаза» (Кемерово, 1997), «Категория жизни» (Москва, 1985), «Набат сердца» (Москва, 1988), «Рабочий характер» (Пермь, 1987), «Зов» (София, 1979), «Сибирский рассказ» (Будапешт, 1980), «Белые города» (Мюнхен, 1991), «Венок славы». Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 томах (Москва, 1984).

Член Союза писателей России. Живет в Кемерове.

Из-за шума реки и рева ошалевшей отары падений не слышно; от этого трагедия происходящего становится особенно отчетливой.

Погонщик наконец добрался до головных. Рискавая быть спихнутым вниз, в пропасть, он вскакивает на каменную стенку и с искаженным от крика лицом бьет рукояткой бича по тупым орудиям мордам.

Овцы шарахаются от барьера. Потом мало-помалу заполняют узкую щель между скалой и автобусом. Когда отара проходит, погонщик тяжело взбирается в седло, подъезжает к машине.

Вытерев шапкой лоб и скулы, просит закурить. Крепкими зубами прикусывает папиросу, глубоко, жадно затягивается. Лида видит, как дрожат его пальцы, перебирающие поводок уздечки.

И потом всю дорогу до Горно-Алтайска перед ее глазами стояло молодое, блестящее от пота лицо погонщика и его сильные руки, вздрагивающие от пережитого напряжения.

Тетка не высказала большой радости по поводу приезда племянницы. Однако и не выразила неудовольствия. Приехала, ну и живи, тем более что племянница – девушка вполне самостоятельная, закончила курсы швей и на чужой шее сидеть не будет.

Она устроилась в мастерскую и тут же написала матери, что дела у нее идут хорошо и город ей нравится. В конце все же оговорила, что готова вернуться домой, как только там найдется работа по специальности.

Днем она трудилась в мастерской, а вечерами дома шила, продавала на рынке. Тетка целиком была занята хозяйством и семьей, и Лида жила сама по себе. Подруг у нее не было, да она и не пыталась их завести. В детстве она после неудачной операции долгое время страдала глухотой. В играх со сверстниками не участвовала – ее дразнили. И как все дети с физическими недостатками, была замкнутой и впечатлительной.

В один из воскресных дней Лида познакомилась на рынке с пожилой женщиной, торговавшей вязаными кофточками, шарфиками, беретами. Ей очень понравились кофточки. Женщина, участливо поговорив с ней, предложила научить этому нехитрому делу – вязанию кофточек.

Они стали встречаться.

Сидя где-нибудь в скверике или на скамейке чужого двора, Мирония (так звали женщину) обучала Лиду приемам вязания. Сама она вязала очень ловко, почти не глядя накидывала петли.

Костяной крючок так и мелькал в ее сухих цепких пальцах.

Так же ловко и плавно она умела говорить. Из-под темного, наглухо повязанного платка на Лиду смотрели острые пронизательные глаза. Дряблое, со старческим блеском лицо Миронии всегда было печально, и, слушая ее ровную, как вязание, речь, девушка мало-помалу проникалась к ней доверием.

– Ты, сестричка моя, – говорила Мирония, – очень молода. Но ты познала уже, что повреждает душу. Ты повинешься во всем воле своей, а это уже нехорошо.

– Почему – нехорошо? – спрашивала девушка.

– Потому, что это противно воле нашего спасителя.

– А кто ваш Спаситель?

– Я говорю о Боге, – Мирония поднимала глаза к небу, крестилась двумя перстами. – Бог – он, сестричка моя, невообразим по своему существу и непостижим для нашего разума. Он вызвал к бытию все видимое, создал человека и ввел его в рай. А человек, по зависти дьявола, впал в преслушание. Спаситель наш, победив смертью своей дьявола, восшел на небеса и нас призывает туда же...

– Вы так странно говорите...

– Не я так странно говорю. А ты, сестра моя, живущая по своей прихоти, так странно смотришь на истины жизни духовной...

Мирония, собрав в кошелку вязание, уходила. А девушка еще долго сидела на скамейке, наедине с охватившими ее чувствами.

После этих ласковых и тихих бесед на душе оставался легкий осадок грусти. Хотелось почему-то вспоминать трудные моменты своей жизни – гибель отца, полуголодное детство, ужас и стыд глухоты, одинокие игры с тряпичными куклами, все большие и маленькие обиды; вспоминать и кому-то жаловаться, жаловаться...

Жизнь в Горно-Алтайске среди чужих людей, работа в мастерской давали мало радостных минут. И перед Лидой постепенно встал тяжелый, как глыба на тропе одинокого путника, вопрос: для чего живет человек?

В самом деле, для чего? Чтобы есть, спать, работать, дать жизнь детям и безропотно дожидаться старости? А дети начнут все сначала? Но зачем это? Кому это нужно? Сидя над стрекочущей машинкой, Лида до головной боли думала: зачем? зачем? зачем?..

Встречи с Миронией продолжались. Девушку смущало лишь одно: почему новая знакомая встречается с ней где угодно, только не у себя дома. Однажды она осторожно спросила об этом. Мирония, смиренно взглянув на девушку, сказала, что у нее нет дома.

— Как нет? Но вы же где-то живете, ночуете? — удивилась Лида.

— Нету дома у меня, — повторила Мирония, и лицо ее сделалось скорбным и даже в чем-то несчастным. — Есть только пристанище.

— Пристанище?

— Владыка наш — терпеливо пояснила Мирония, — провел земную жизнь странником, не имея дома. Если он, творец наш, не имел, где приклонить голову, то я, несчастный человек, почему должна высокоумствовать о себе?

«Действительно, почему?» — подумала Лида, и с этого момента тетушка Мирония с ее набожностью и непривычно ласковыми речами стала расти в ее глазах. «Что у нее за вера такая, что она на все имеет готовые ответы, ни над чем, кажется, не мучается и ни о чем не переживает?»

...В этот небольшой южный город поезд пришел ночью. Среди немногих пассажиров на перрон вышли две укутанные в платки женщины — старая и молодая. Они торопливо перешли площадь, сели в такси, которое давно ожидало их. Машина помчала по широким пустынным улицам.

Стояла глубокая осень. Ветер гулял по опавшим садам, приносил в машину запахи прелой листвы, фруктов. Таксист в расшитой тюбетейке и с перстнями на пальцах, не спросивший ничего, не проронивший за всю дорогу ни слова, после долгих петляний остановился возле дома на одной из окраинных улиц города. Дом был обнесен глухой оградой-дувалом, а во дворе гремела, бегая вдоль проволоки, как трамвай, огромная собака.

Через минуту щелкнула калитка. Две женские фигурки, словно две тени, исчезли за высоким дувалом.

Дом, в который так неожиданно попала Лида, поразил царившей в нем тишиной и загадочной умиротворенностью. С улицы, отгороженной дувалом и стеной деревьев, не доносилось ни звука. Редкое шарканье ног, разговор вполшепота глохли в коврах, в бесчисленных складках занавесей, шторок, покрывал.

Тишина была тем более удивительной, что дом кишел людьми.

В первые дни, бродя по дальним комнатам, Лида то и дело наталкивалась на молчаливые коленапреклоненные фигуры. Женщины в черных до пят платьях были похожи на ожившие тени. Были тут и мужчины. Их аскетически-скорбные лица пугали. У нее было такое чувство, словно где-то за стенкой лежит покойник.

Поместили ее в крохотную полутемную комнату с голыми стенами и тремя железными кроватями. Здесь уже жили две девушки: Августа и Катерина.

Августа — маленькая и толстенькая, с круглым и невыразительным лицом, не понравилась Лиде. С самого утра, истово помолвившись и пожевав постный завтрак, садилась она переписывать в тетрадку всяческие мудреные изречения святых отцов. Или учила наизусть молитвы. А их была тьма, на все случаи жизни. При этом полные губы ее шевелились, а на висках выступал пот — так она старалась.

Катерина же — была ее прямая противоположность. Тоненькая и смуглая, как южанка, неуслуживая. Большие глаза Катерины были всегда тревожны, будто она постоянно жила в ожидании какой-то опасности. Когда, ложась спать, девушка сбрасывала тяжелое и грубое платье послушницы, Лида любовалась ее стройной фигуркой, завидовала ее красоте.

У Катерины были прекрасные волосы, она заплетала их в косу, а вечером, перед сном, расчесывала большим, похожим на полумесяц гребнем. Тугой блестящий ливень падал на голые плечи; под гребнем синими искрами бушевали крохотные грозы.

Однажды Лида не выдержала, простодушно сказала ей, всплеснув радостно руками:

— Ой, Катенька, какая ты красивая...

Но Катерина, сделав вдруг испуганное лицо, пробормотала:

— Что ты, Лида, что ты. Ведь так говорить — грех. — И почему-то оглянулась на Августу.

На следующий день тетушка Мирония, зайдя в комнату, положила перед Лидой раскрытую книгу и как бы невзначай ткнула пальцем в строчку. Лида прочитала: «Любострастное осязание своего и чужого тела есть нечистота».

Господи, подумала она, склонив вспыхнувшее краской стыда лицо, какая я, оказывается, порочная! Что же будет?..

Лида чувствовала благоговение перед тетушкой Миронией. Может быть, именно поэтому она ни разу всерьез не задумывалась о столь быстрой перемене своей судьбы. Если тетушка говорит, что так надо – пусть будет так. Она добра и ласкова и – главное – бескорытна... Она даже билет купила Лиде на свои деньги.

– Самое важное для истинного православно-го, – втолковывала Мирония, – стяжание вечного спасения. Ему нужны в земной жизни одежда, питание и другие подобные потребности. Но спасение! – голос ее при этом переходил на свистящий шепот, а глаза сухо и пронзительно впивались в Лидино лицо. – Но спасение нужнее всего! А обрести вечное спасение можно только праведной жизнью!

Ее гладкие, гипнотически страстные речи ошеломляли девушку; из мира простых и привычных понятий они медленно, но верно уводили в иной мир – таинственный и тревожный. «Небесный дух», «вознесение», «божья благодать», «вечное блаженство», «таинство души» – все эти слова почти ничего не говорили уму, зато от них сладко щемило сердце и на глазах невольно выступали слезы.

В этой чистенькой полутемной комнатке-келье, пропахшей сладковатым запахом стеарина, отгороженной от внешнего мира высоким забором и неусыпным оком инокини Миронии, для Лиды начались дни, заполненные чтением священных текстов, молитвами, душевспасительными беседами сестер и братьев.

– Ум молится словами, а сердце – плачем, – говорила Мирония. – А плачем доставляется совершенство и безгрешие.

И Лида молилась и плакала. Плакала искренне и тяжело, до сердечных болей и полной потери сил. Мысль ее словно оглохла, и она жила в этой вязкой глухоте, выполняя все, что от нее требовала инокиня.

Но вскоре произошел случай, в котором характер Миронии проявился по-иному.

Поздними вечерами девушки выходили во двор и в большой фруктовый сад вокруг дома. Эти короткие, точно украденные, прогулки по тропкам темного осеннего сада утомляли Лиду не меньше, чем зубрежка и бесконечные бдения.

Запахи увядших растений, палой листвы кружили голову, заставляли тревожно-взволнованно биться сердце. Оставаясь одна, она садилась и смотрела на подсвеченное небо, перечерченное решеткой ветвей. Больше смотреть было не-

куда. Жизнь, оставшаяся по ту сторону глухого дувала, казалась зыбким, далеким сном. Но думать о ней как об утерянном благе было приятно: это было хоть маленьким, но страданием. Ведь страдая, она приближает себе вечное спасение!

Бродя по шуршащей тропинке вдоль забора (поверх которого густо росли какие-то колючки), она однажды наткнулась на темную фигурку, прильнувшую к щели, в том месте, где камень лопнул. Это была Катерина. Несколько мгновений они молчали. Лида испуганно сказала:

– Ведь это же грех, разве не знаешь? Что ты там на улице рассматриваешь?

– Ничего, – ответила Катерина и, помолчав, вдруг проговорила злым прерывающимся голосом: – Что, доносить теперь пойдешь? Иди, Мирония любит, когда доносят!

– Катя, что ты? Что ты? – забормотала Лида.

– А разве нет? Сказано: обличи ближнего своего и не понесешь за него греха!.. Иди, иди! – бросала ей в лицо Катерина. – Августа доносчица, хотя и дура, ты, видать, тоже. Все вы тут доносчики и шпионы!

Она прислонилась к камню забора и заплакала. Лида, обескураженная, стояла рядом. Катину откровение было слишком неожиданным, чтобы сразу понять и принять его.

Она стала успокаивать девушку, уверять, что никому не собирается доносить. Постепенно Катерина затихла. Возвращались они вдвоем, чувствуя, что с этого момента стали чем-то ближе друг другу.

Ночью, когда уснула, засопела Августа, Катя перебралась к Лиде и шепотом рассказала ей о себе.

...Лет до семи Катя жила с родителями в Барабинске. У них был свой дом с маленьким огородом, засаженным огурцами, помидорами, корова в сараюшке. Хозяйство вела мать: поливала из длинного шланга гряды, провожала корову в стадо, перегоняла через сепаратор молоко. Отец, инвалид труда, не работал на производстве. У него был красивый, каллиграфический почерк, и он целыми днями занимался перепиской каких-то книг. Ему, кажется, неплохо за это платили, потому что деньги, насколько помнит Катя, у них водились, и немалые. В доме бывали посторонние люди, чаще это были женщины, тихие, молчаливые, одетые во все темное.

Мать была верующей, но верующей как-то несерьезно, и дочку к вере не приобщала, гово-

ря: пусть она идет своей дорогой. Отец на это сердился, отчего между родителями часто вспыхивали ссоры.

Все началось со смерти матери.

Вскоре после похорон отец продал дом и увез Катю в поселок, на берегу одного из бесчисленных барабинских озер. Здесь девочка поступила в первый класс, но школа была начальная. После четвертого класса Катя осталась дома: отец посчитал, что для девочки уметь читать и писать – вполне достаточно. Катя охотно шла с отцом в молельный дом, воспринимая все это как забавную игру, в которую с серьезным видом играют взрослые.

Но, должно быть, материнская кровь в ней была сильнее. Девочка могла посреди молитвы или песнопения вскочить с колен и, засмеявшись, запрыгать неизвестно отчего, просто так, от избытка жизнелюбия. О наказании, которое за этим последует, она в такие минуты как-то забывала.

Потом она стала помогать отцу в переписке текстов. Ей нравилось выводить буквы со старославянским начертанием. Она сразу разделила их на мальчиков и девочек. Девочки были капризные, с завитушками, а мальчики тощенькие вроде буквы «і». Так переписывать было интереснее, получалась снова игра.

Как-то зимой (когда Кате было уже 15 лет) отец, возвращаясь из соседнего поселка, куда он относил переписанные тексты, попал в пургу и простудился, слег в постель. Позвать поселкового фельдшера он не захотел. Уже на третий день от высокой температуры потерял сознание, бредил. Многочисленные тетушки и дядюшки, вдруг неизвестно откуда заполнившие их тесный домик, стали настойчиво внушать девочке как можно усерднее молиться за отца. Может быть, бог смилостивится.

Катя так была напугана всем этим – возможной смертью отца, уговорами, уверенным хозяйничаньем в доме чужих людей, – что упала на колени и стояла коленапреклоненно несколько часов, пока не случился с ней обморок.

Организм отца сам справился с болезнью, отец встал на ноги. А к девочке верующие стали относиться с благоговением: ведь она обладает силой молитвы!

Женщины стали брать ее с собой в странствия, и куда бы она ни приходила, ее там знали, старались угодить, ждали слова.

Кате это нравилось, и, чтобы поддержать в верующих чувство благоговения, пришлось ей

тщательно соблюдать уставы духовной жизни. Выучила она несколько проповедей святых отцов. Их образный строй, старинные русские обороты, музыкальность фразы трогали ее. И когда она произносила их перед верующими, у нее самой мурашки пробегали по телу – так многозначительно и непонятно, так завораживающе звучал язык проповедей: «Какая твердая, какая непоколебимая оборона, какая небесная помощь для обладания вечными благами заключается в том, чтобы быть свободным от сетей лукавого мира!..»

Росла среди верующих Барабинской степи слава юной и велеречивой «подвижницы».

Но случилось совершенно непредвиденное, что резко поломало привычный ход Катининой жизни, нарушило так удачно начавшуюся «духовную карьеру»...

Возвращаясь из очередного «странствия», Катя и ее спутница, пожилая женщина, задержались, вечер застал их посреди степи.

Их обгоняли редкие машины, но женщины, шагая в стороне от дороги, даже не оглядывались. Перспектива заночевать в степи была малоприятной, но что делать, они привыкли терпеть «за веру» не такие невзгоды.

Один из грузовиков, уже обогнав их, вдруг затормозил. Шофер крикнул:

– Эй, бабоньки, садись, подброшу! – потом, взглядевшись, спросил: – Катя, что ли?

Это оказался их поселковый шофер, обслуживающий рыболовецкие бригады. Катя его тоже немного знала (встречаясь, здоровались). Звали его Павлом.

К знакомому можно и сесть, тем более – сам пригласает.

Не проехали они и получаса, как мотор застрелял, зафыркал и наконец заглох. Павел, чертыхаясь, полез под капот и надолго застрял там. А женщины отошли, присели на бережок маленькой речушки, мимо которой проходила здесь дорога.

Вскоре подошел Павел, он был расстроен. Отладить мотор не удалось, у него что-то там «сгорело», придется ждать, кто-нибудь проедет, выручит.

Они насобирали хвороста, разожгли костер, у Павла нашлась банка консервов, у женщин хлеб и чай. Разогрели консервы, вскипятили чай, стали ужинать.

У Павла хватило такта не задавать женщинам «крамольных» вопросов, они разговарива-

ли на самые отвлеченные темы: об урожае, о черной буре, пронесшейся весной по полям Барабы. Говорил больше Павел, рассказал несколько веселых историй из своей недавней армейской жизни. Когда заметил, что Катину спутницу клонит в сон, ушел куда-то в темноту и вернулся с огромной охапкой сена. Женщина поблагодарила и легла, Катя и Павел остались вдвоем.

Ночь была июльская – теплая и светлая. Серебрилась речная трава, звенели кузнечики, под берегом плескалась рыбешка.

Некоторое время они сидели молча. Катя украдкой поглядывала на парня. Розоватый свет зари, который уже заливал небо, освещал Павла, его взъерошенную голову, руки с крепкими запястьями, охватившие колени. Он смотрел на темнеющие угли, потом, не говоря ни слова, встал и спустился на берег, к воде.

Катя подождала его, потом тоже встала и пошла следом: спать ей совсем не хотелось! Павел был далеко, на конце узкой косы, ползал по галечнику на четвереньках. Катя окликнула его:

– Что ты там делаешь?

– Клад ищу, – засмеялся тот.

Поколебавшись минуту (все-таки ей не следовало забывать себя), она пошла к нему вдоль дымящейся воды, по чистому хрустящему песочку.

– А ну-ка, держи! – Павел высыпал ей в руки горсть холодных окатышей. Это были необыкновенные камушки – полупрозрачные, дымчатые, золотистые. Они были влажны от росы и точно излучали свет.

– Ой, какая красота, – сказала Катя, пересыпая их из ладони в ладонь. – Где насобирали? Неужели все здесь?

– А ты думала!

Катя окинула взглядом косу, посмотрела под ноги.

– Да они все тут серые, одинаковые!

– Это на первый взгляд, – сказал Павел. – А ты вот присядь, взглядишь внимательней.

Слегка смущаясь, но уже заинтересованно, Катя присела на корточки. Вскоре она подняла какой-то камешек, и Павел с серьезным видом похвалил ее:

– Молодец, делаешь успехи. Погляди-ка на свет. Видишь, внутри точка. Может, это песчинка, а может – древний жучок!

Заря полыхала уже во все небо, в кустах проснулись и заперекликались птицы, а они все

бродили по косе, радуясь каждой удачной находке.

Странно, Катя чувствовала себя рядом с этим в общем-то малознакомым ей парнем совершенно свободно. И Павел – какой умница! – не замечал ни ее темного глухого платья, ни платка до бровей. Он, казалось, вообще не смотрел на нее. Когда коса была исследована, Павел разулся, закатал штаны выше колен и стал бродить по мелководью.

Было часа четыре утра, горбинка солнца выгнулась над горизонтом, и речка наполнилась розовым дымом. В придорожной траве зашелестели, запересвистывались суслики. От ног Павла текли мерцающие волны, ломая устоявшееся стекло плеса. Он позвал ее, и Катя, не колеблясь, пошла, сбросив на ходу туфли. Она забрела по щиколотки, и низ платья сразу вымок, стал тяжел. Катя засмеялась чему-то и стала вглядываться в переливающееся дно.

– Катя, дай-ка платок, – попросил Павел.

Она легко, послушно сдернула с головы платок, и он сыпал в него камни, связал концами.

Потом сели на бережок, на травяной обрывчик; выгрузив добычу, стали отсортировывать. Павел был строг в отборе, безжалостно отбрасывал «брак», а Кате наоборот – все нравилось, и они даже немножко поспорили.

С высокого берега против них свешивались белесые от росной влаги гривы кустарника. Капли звонкими гвоздиками падали на воду, и глинистый берег, точно раковина, отражал их тончайший перезвон.

Боже мой, красота какая, чудо, думала Катя, с необыкновенной душевной остротой вглядываясь в окружающее.

Где-то рядом раздался тревожно-лихой пошест. Суслик «попиком» стоял возле норы, мерцая бусинками глаз. Павел кинул в него камешком, и суслик выёркнул в нору, с трудом протиснувшись толстым задом.

Они оба рассмеялись. Павел предложил:

– Хочешь, я его сейчас вылью?

– Не надо, мне его жалко.

Сказав это, Катя опустила лицо. Отчего-то радостно застучало сердце. Павел как будто впервые за все утро внимательно посмотрел на нее. Волосы ее, скрученные слабым узлом, скатились на плечи, были матовы от росы; гребень, косо заколотый на затылке, едва держался.

– Гребень потеряешь, – сказал Павел и протянул было руку.

Катя вскочила на ноги, и с таким трудом собравшиеся на нее цветные камешки резво запрыгали с коленей под травяной бережок, в воду. Не поглядев даже на них, она пошла в обход прибрежных кустов к машине, покрывая на ходу голову.

Она шла и никак не хотела признаться себе, что ее испугал не жест Павла. Даже если бы он обнял, она, кажется, не пошевелилась бы – наваждение какое-то, господи. Испугала ее вдруг легкость, с которой «отлетела» от нее с таким трудом накопленная в молитвах лет душевная «оборона». Это ошеломляющее открытие надо было пережить наедине.

Несколько дней после поездки Катя не выходила со двора, занималась домашними делами. Она старалась не думать о Павле, но постоянно ловила себя на том, что думает о нем. Когда за окном раздавался шум проезжающей машины, она вся цепенела.

Однажды автомобильный требовательный гудок послышался у самой калитки. Катя тихонько отогнула занавеску. Из кабины выглядывал Павел, он был в синей футболке с закатанными рукавами, сидел, щурился от солнца, ждал... Ждал ее!

Из соседней комнаты появился отец. Передвинув на лоб очки, посмотрел в окно.

– Чего это он?

– Не знаю, – прошептала Катя.

Отец вышел за двери, они о чем-то поговорили. Павел тут же отъехал; а отец, вернувшись, сказал:

– Едет в район, ты, говорит, тоже собиралась. Говорит, мог бы подбросить.

– Нет, я не еду, – ответила Катя, отворачиваясь, боясь, как бы отец не догадался о ее душевном состоянии.

– Я так ему и сказал. – Отец строго и внимательно посмотрел на дочь и ушел в комнату.

«Никуда я не собиралась и ничего ему не говорила, – со страхом, с трепетной радостью думала ночью Катя, сидя на постели, комкая на коленях одеяло. – Он сам это придумал, чтобы встретиться со мной. Господи, дай мне силу...»

Она тихонько зажгла лампу, достала тетрадку и, найдя нужные страницы, стала читать о том, как глава женских побед и трофеев всевальная Фекла, как огонь возгоревшись среди волн страстей, приплыла в безопасную пристань...

Тут же почувствовала, что читать ей о поучительных похождениях Феклы стыдно. Потому

что у нее, у Кати, совсем другое! Никто ее не «обольщает», и никакого она не испытывает «нападения желаний», и тем более не искушают ее «сны сладострастия», чему так мужественно противостояла «всевальная Фекла»...

Она отбросила тетрадку, подошла, держа у лица лампу, к висевшему на стене зеркалу. Эх, Катька, Катька! – сказала мысленно своему отражению. – Никакая ты не «подвижница», пусть не выдумывают. Вот увидела Павла сквозь занавесочку – и все. И поняла: нет тебе и не будет никого дороже. И носить в душе это открытие невмочь, и поделиться не с кем. Что же будет?

Дня через три-четыре, когда она ходила по двору, кормила кур, кто-то за спиной кашлянул. Она оглянулась: у ограды стоял Павел, улыбался. Все в ней затрепетало, и она едва нашла в себе сил в ответ улыбнуться ему.

– Может, выйдешь? – спросил Павел.

Продолжая разбрасывать корм прямо на спину курам, Катя отчаянно замотала головой: нет!

– Катя! – сказал Павел, и лицо его стало серьезным. – Приходи в десять часов к озеру, за дальние мостки. Буду ждать.

И ушел не оглянувшись.

Остаток дня Катя не находила себе места. Кое-как приготовила ужин, позвала на кухню отца, а сама вышла на крыльцо, боясь каким-нибудь движением выдать себя.

От их дома видна была озерная гладь. Краски закатного неба сливались со своим отражением в озере, едва разделенные ниточкой далекого берега. От одного взгляда туда, в сторону озера, у Кати холодели губы; десять часов неутомимо приближались, и надо было решать.

Нет, он, наверное, не добрый, неужели он не знает, что ожидает меня, если нас увидят. Он просто не представляет...

А в десять часов, уже в сумерках, слабо заливавших поселок, бежала она по огородной тропке к озеру. В руке держала ведро. Ведро фальшиво позванивало, будто поддразнивало. До дальних мостков, где когда-то разгружались рыболовецкие катера (а потом озеро обмелело, и мостки оказались на суше, не у дел), было около километра. Катя раза три останавливалась, порываясь вернуться. Радости уже не было, был один страх: а вдруг он просто посмеялся над ней? Тогда лучше не возвращаться с озера вовсе...

Склоненную спину Павла, сидевшего на мостках, она увидела издали, на фоне темной сверкающей воды. Он тоже увидел, встал и по-

шел навстречу. Когда он приобнял ее, ведро выпало из ее рук, со звоном откатилось. И вместе с ведром откатились, покинули ее последние колебания.

...Расстались они глубокой ночью, у калитки Катиного дома. Катя не дыша пробралась в свою комнатушку, быстро разделась и легла, – впервые легла без молитвы.

Она лежала, улыбаясь в темноту, трогая кончиками пальцев свои припухшие губы. С этой улыбкой она и заснула.

Утреннее пробуждение было мучительным...

В первые мгновения она ничего не могла понять. Над ней нависал отец, костистое лицо его в сером свете утра было искажено, он что-то настойчиво спрашивал. Нет, просто кричал. Какие-то страшные слова. Катя видела его таким впервые. Это был не ее отец, кто-то другой – в гневе и злобе принявший обличье отца.

«Видели, донесли», – обожгла мысль.

Он схватил ее за руку и так дернул, что она, соскользнув с постели, едва устояла на ногах.

– Блудница! Как ты могла! Ты!.. – отец хватал воздух ртом, руки его металась, точно ища опоры и не находя ее.

«Он убьет меня, такой, – подумала Катя с каким-то опустошающим равнодушием, прижимаясь полуголой спиной к стене. – Если не теперь, то ночью».

– Ты... лежала с ним?! – на его редких ощеренных зубах запузирилась слюна. – Сознавайся, растленница!..

Катя ахнула в душе. Чувство слепой покорности никогда не было сильно в ней. Она оттолкнулась от стены и пошла мимо беснующегося отца, стала размеренно одеваться. Тот вырвал из ее рук кофточку, швырнул на пол. Потом вдруг выскочил из дому. Через минуту ставни на Катином окне захлопнулись (до этого ставни были всегда открытыми).

Вернулся он тяжелыми шагами обессиленного человека, хрипло повторил:

– Лежала? Сгною, если не сознаешься.

Весь день просидела Катя в темной комнате, ничего не ела, а за дверной занавесью, как в те дни, когда болел отец, снова зашаркали таинственные гости, забормотали таинственные голоса. Такое впечатление, что божи люди держали совет.

А ночью случилось ужасное...

Легла Катя рано – в ставнях закатно золотились щели. Сон был неглубок, тревожен, и еще во сне она почувствовала: в комнату вошли.

Страх ударил в грудь, она рывком поднялась, села.

Перед ней в желтоватом пронзительном свете внесенной лампы стояли четыре женщины; трех она знала, встречались в молельном доме, четвертую – крупную женщину с нездоровым, одутловатым лицом – видела впервые.

– Что вам надо?.. Зачем? – прошептала Катя, съезживаясь; ее потихоньку заколотило.

Три женщины молча, не произнося ни звука, деловито взяли ее за руки и за ноги, повалили, придавили к кровати. Катя порывалась крикнуть, но голоса не было: ужас чего-то неизбежного словно вязкой глиной забил рот.

Незнакомка с одутловатым лицом откинула одеяло, крепкими уверенными движениями вздернула к голове, взбила на Кате рубашку. И только когда холодные пальцы скользко коснулись ее тела, Катю потрясла, оглушила догадка. Она рванулась, выгнувшись всем корпусом – от чувства гадливости, грязи, куда внезапно окунулась с головой.

– М-м-м! – замычала она, задыхаясь.

Сквозь взбитую на лицо рубашку она ухитрилась кого-то укусить, потому что одна из женщин вскрикнула. Но силы быстро иссякли, и все последующее время, пока ее осматривали, Катя лишь вздрагивала...

С этого дня жизнь потеряла для Кати свои былые краски. Встретиться с Павлом было бы мучительно. Отца она не могла видеть. Две женщины остались в их доме жить, причем одна всегда, в любое время суток, была рядом с Катей.

Через несколько дней, ночью, ее вывели, посадили в легковую машину и увезли. Кате уже все было безразлично.

Трудно в шестнадцать лет привыкнуть к мысли о неизбежности смерти. Ее холодное дыхание – это скорбные, потухшие лица окружающих, черные платки до бровей, трепетное потрескивающее мерцание свечей, это долгое, хватающее за сердце пение псалмов (Лида не поверила своим ушам, когда услышала псалом на знакомую с детства мелодию песни «Катюша»), это тихие истерические плачи послушников и послушниц в цементированном подвале божьего дома.

Лида стоит на коленях перед раскрытой книгой. «Стяжай вечное спасение! – безмолвно кричит книга. – Спасение, спасение!.. Все вещественное, что мы приобретаем в земной жизни, мы оставим в день смерти. Все: родственников, друзей, богатство, почести, тело наше! Вечное спасение и вечная погибель – вот что пребудет нашим достоянием и доставит нам или нескончаемое блаженство, или нескончаемое бедствие!... Уверь себя, что ты умрешь, умрешь непременно...»

Лида с силой сжимает ладонями виски. Она не может уверить себя в этом, не может. Не может! Ей страшно оттого, что всевышний не дает веры. Слезы текут по ее щекам. «Когда, окончив земное существование, – бормочет она, – вступишь на грань, отделяющую временное от вечного... от вечного...»

Поодаль бьет поклоны Катя. Стоя на коленях, она почти касается лбом пола и при этом шепчет молитву.

В руках лестовка – тесемка с нашитыми костяными бобочками для подсчета поклонов. Поклон – бобочек под пальцами долгой, еще поклон – еще бобочек. Голова не должна отвлекаться от молитвы, пусть счет ведут пальцы. А бобочки эти – не просто круглые костяшки. В каждом ряду их – свой ритуальный смысл. Двенадцать бобочков – двенадцать апостолов с господом по земле ходили. Кланяйся! Тридцать семь бобочков – столько недель богородица во чреве Христа носила. Кланяйся! И еще ряд, и еще. Кланяйся, кланяйся! Круг бобочков замкнулся – начинай снова, следующий круг. И кланяйся, кланяйся!..

Лицо Кати бледно, а в глазах обреченность и тупая невыразимая тоска. Пятьсот поклонов во искупление греховных помыслов. Пятьсот, когда уже после сотого деревенеет спина, и сердце стучит в самом горле, и отвратительным песочным звоном наполнена голова! «Да просветится свет ваш пред человеки... да прославят отца вашего иже на небеси...»

Августа забила в угол и там зубрит стихи. Слышны тихие, слезные повизгивания:

*«Когда Христос выходил из храма
Пред крестного смертью своей...»*

Внезапно Катя, прервав поклоны, несколько мгновений тупо смотрит перед собой. Потом судорожно всхлипывает и с криком валится на бок, отбросив лестовку.

– Не могу-у! – кричит она, и крик этот в благо- стной тишине дома подобен удару бича. – Не могу! О господи! О-о!..

Лида в растерянности пятится. Прижавшись к стене, она смотрит на бьющуюся в истерике девушку, часто-часто крестится. Августа медлит лишь секунду и выскальзывает за двери, Лида подбегает к подруге, обнимает ее, пытается успокоить.

– Мама моя!.. Мама моя! – всхлипывает Катя. Голос, перехваченный спазмами, хрипит. Она, задыхаясь, рвет на груди рубашку и иступленно, страшно бьется об пол головой.

В дверях вырастает Мирония. За ее спиной мелькают бородатые лица послушников, показывается и вновь исчезает перепуганная Августа.

Инокиня с несвойственной возрасту живостью семенит к Кате, пытается поднять, оттолкнув при этом Лиду. Катя отбрасывает ее руки, точно они ожгли ее, кричит:

– Уйди! Ненавижу! Всех ненавижу! О-о!

– Господи Иисусе Христе, дочь моя, опомнись, – тараторит инокиня.

Девушка отползает в сторону, пытается встать.

– Не хочу... дайте мне уйти... – бормочет она, – уйти... сгинуть... 59

Инокиня кидается к ней и неожиданно, размахнувшись, сухой жесткой ладонью бьет ее. Голова девушки мотается, как тряпичная; мотается за спиной растрепавшаяся коса.

– Демон! – шипит инокиня, и щеки ее трясутся от ярости. – Демон вселился в нее. Изыди, нечистый!

– Бейте! Бейте! – кричит Катя, срывая с головы покрывало. Пряжи гусых волос липнут ко лбу, она всхлипывает: – Лучше... в пустыне со зверьми... жить...

Инокиня делает знак послушникам. Пугаясь в полах, они подхватывают под руки отбивающуюся девушку, волокут к дверям.

– Это у нее от гордости! – шипит вслед Мирония. – А гордость презренна перед Богом и святыми его!.. Изыди, демон!

Катя исчезла. По крайней мере, никто в этом доме больше не видел ее...

Лида от пережитого потрясения слегла. Мирония каждый день навещала ее. Приближалось крещение девушки, и это больше всего беспокоило инокиню. Но она и виду не подавала. Присев на Лидину постель, гладила она ру-

кой больную и говорила тихим проникновенным голосом:

– Ты, дочь моя, одержима телесного болезнью. Но малодушествовать по этой причине не надо. Если Господу Богу угодно, чтобы ты немоществовала по телу, то кто ты, чтобы огорчаться этим? Переноси болезнь терпеливо и безмолвствуй в терпении. И пусть свершится над тобой воля его...

Лида слушала, смежив веки. А перед глазами стояла простоволосая красивая Катя и рядом – перекошенное злобой лицо Миронии. Она пыталась осторожно вытащить свою руку из-под холодной сухой ладони – ведь эта ладонь только что хлестала Катю.

– Скоро ты вступишь в высокий сан, – продолжала Мирония. – Помни, наша обязанность – не допускать братьев и сестер наших заблуждаться и жить по своей прихоти. Мы должны подавать им верную помощь... – И, словно прочитав мысли девушки, она минуту молчит и потом, поджав губы, скорбно добавляет: – Не тот несчастен, дочь моя, кто терпит, а тот, кто наносит оскорбления...

Обряд «спасительного» крещения Лида помнит смутно. Полубольная, оглушенная слезами и молитвами, она безропотно отдала себя в руки многочисленной братии.

Ее одевали и обряжали, потом вели по гулким каменным ступеням. Она шла, и одной мыслью ее было: устоять на ногах, не упасть! В смутном мерцании свечей мелькали какие-то лица, от белых и черных одежд рябило в глазах. И только раз, когда в хоровом тягучем пении псалмов ей почудился Катин крик, она остановилась, но сзади на нее наткнулись, и она снова пошла.

Потом – громадный чан, сшитый из кожи и наполненный водой. Когда ее погрузили трижды с головой, она захлебнулась. Выбравшись из чана и отдирая от тела рубашку, она почувствовала ледяной озноб.

Она не видела, как сжигали ее документы, хранимые ею письма матери, мирское платье – все, что связывало ее с суетным житейским миром.

Так из жизни исчезла, перестала существовать девушка по имени Лида. Зато ряды секты «истинно православных христиан странствующих» пополнились одной молодой послушницей по имени Нина.

Ночью Лида-Нина металась в жару, бредила. Она разговаривала с Катей, плакала, жаловалась ей, осуждала инокиню Миронию – теперь свою крестную мать, – бормотала молитвы, стонала.

А рядом у постели, прикрывая свечу рукой, стояла на коленях сама Мирония. Она напряженно смотрела в лицо больной и слушала ее бормотания. Возле нее ежилась полураздетая Августа. Прошло уже немало времени, как она позвала инокиню. Ей уже хотелось спать, она украдкой зевала, крестилась. Но уйти и лечь не решилась – вдруг она еще понадобится инокине?

Когда Лида выздоровела, матушка стала ласково, но настойчиво внушать ей, что она поражена земляным тлением и что спасти себя может только одним – удалением из мира житейского, долгим постом и молитвами. ...По вечерним улицам города мчится такси. Боковые шторки задернуты. Лида видит только летящую под колеса дорогу, яркие вспышки реклам да в пятнах электрических светильников редкие фигуры прохожих.

Рядом в машине – матушка Мирония. Она сидит, строго собрав сухие губы, вперив недвижный взгляд в расшитую тюбетейку шофера. Лида замечает поблескивающие на пальцах шофера массивные перстни – и узнает его. Шофер тот же самый, значит, он не настоящий таксист, а под видом таксиста работает на Миронию.

Как давно это было! Кажется, целое тысячелетие отделило ее от того времени, когда она, полная смутных надежд и волнений, обласканная незнакомой женщиной, ехала в этой же машине и мимо так же стремительно пронесился чужой для нее город. Он так и остался для нее чужим. Она даже не смогла бы сейчас найти дом, в котором прожила долгую и такую мучительную зиму.

Машина шла всю ночь. Лида несколько раз засыпала. Просыпаясь, видела рядом качающийся безмолвный профиль Миронии, точно вырезанный из черного крепа. И ей от этого соседства впервые стало по-настоящему страшно. Почему они так долго едут?

Утром Лида увидела горы. Серые расколотые громады – настоящий каменный океан – тянулись до самого горизонта, утопая в рассветной дымке. Таких гор она не видела даже на Алтае.

Это было так неожиданно и необыкновенно, что Лида, выйдя из машины, в первую минуту за-

была все: и ночные страхи, и то, зачем ее сюда привезли.

Такси тут же уехало, а они с Миронией по травяному склону, усыпанному камнями, пошли в сторону от дороги. За выступом скалы их ждал человек. Лида увидела лохматую баранью шапку, сросшиеся брови и скобку черной бородки на скулах. Поодаль два ишака жевали колючки.

Женщины сели на ишаков. Мужчина, взяв в руки уздечку, пошел впереди.

Ехали почти весь день, все глубже и глубже в горы. Только когда животные начинали спотыкаться от усталости, делали остановку. В полдень пообедали хлебом и полдюжиной яблок, запив водой из горного ручейка.

Под вечер впереди сверкнуло озеро – точно осколок зеркала, брошенного в каменный хаос. Маленький караван прошел по его берегу и стал карабкаться вверх по гранитным террасам. На одной из площадок они наконец остановились. Лида увидела пещеру. У ее входа сидел человек. Вид его ошеломил девушку, потому что сначала она приняла его за мертвеца. Это был глубокий старик с маленьким пергаментным личиком, заросшим поределой какой-то прозрачной бородкой, грудь едва прикрывали лохмотья.

Так вот он какой – отец Веникий, с которым ей предстоит жить вдали от суетной славы и очищать свою душу! Она немало слышала о его святости, живя в сектантском доме и готовя себя к крещению.

Религиозный фанатизм Веникия не ведал пределов. Шестилетним ребенком, не зная отца и матери, пошел странствовать с чужими людьми. Бездомная жизнь верующего бродяги была несладкой. Но чем больше обрушивалось на его голову бед и несчастий, тем смиреннее принимал их удары инок Веникий.

Мир сотрясился от войн и революций, наука делала великие открытия, рождались государства. Разрушенная гражданской войной страна восстанавливала свое хозяйство, свою промышленность, строила города, каналы, возводила плотины. Истекая кровью, отбивала фашистское нашествие. И снова вырастала из руин.

Но далек от всего этого был Веникий. Он смиренно странствовал, плача и молясь, он обретал утешение, обетованное спасителем. Он странствовал, чтобы по окончании земного пути

попасть в горную страну вечного блаженства, называемую небесным царством.

Он молился двумя перстами и отвергал все религии, кроме собственной. На своем покаянном пути он искал таких же шатких духом людей и заражал их своим фанатизмом.

Он ненавидел всякую власть, не хотел работать и жил милостыней. Когда однажды за бродяжничество и проповедь мракобесия суд приговорил его к тюремному заключению, он и это воспринял как новое испытание, ниспосланное ему Богом, и смиренно отсидел положенное.

На склоне жизни своей он в глазах верующих совершил подвиг – удалясь от бренного мира в горы, всецело погрузился в покаяние. Инок Веникий во что бы то ни стало хотел попасть в небесное царство. И там, как обещает святое писание, «вечно блаженствовать блаженством внутренним, а также наружным».

Сумерки в горах накатывают быстро.

Лежа на тощей травяной постели, девушка с трепетом душевным прислушивалась к многочисленным ночным звукам. В пещере было сыро, затхло, где-то постукивали капли; в расщелинах потолка попискивали летучие мыши; ветер у входа трепал кусты; из угла неслись старческие вздохи и бормотания Веникия.

Поднимались рано – с первыми холодными проблесками рассвета. В своем религиозном рвении инок был неумолим. К этому он приучал и послушницу. Он заставлял ее читать молитвы, делать выписки из священных текстов, пересказывать учения святых отцов, которых было такое великое множество, что она безнадежно путалась в их именах, чем доставляла Веникию невыразимые огорчения.

Между молитвами пела она псалмы или учила наизусть стихи, которые, как ей казалось, сочинял сам Веникий. В стихах этих, слезных и тоскливых, инок прославлял бога, уничижал себя и призывал братьев своих безропотно идти уготованным путем: «Бывают дни, пленит и давит тоской измученную грудь. Не верь! Премудрость миром правит. Свершай безропотно свой путь...»

В усердии своем он часто доводил себя до иступления, валился на землю, хрипел и царапал себе лицо и шею, выл. И испуганная послуш-

ница не смела в это время приближаться к нему, ибо на инока в такие минуты «проливался» сам небесный дух...

Еду готовили на керогазе – этот закоптелый кухонный инструмент был единственной уступкой цивилизации. Костер разжигать старец не решался, боясь привлечь дымом случайного человека. В дни поста – а они бывали очень часто – не готовили вообще, питались фруктами и сухарями («Постом усмиряется тело», – твердил старец).

Раз в месяц или в полтора приезжал от Миронии посланец, хмурый неразговорчивый парень, привозил запас продуктов, керосина. Случалось, его подолгу не было, продукты иссыкали. Тогда Лида уходила в горы собирать ягоды барбариса. От слабости у нее кружилась голова. Если это происходило за молитвой, она не могла даже подняться с колен и, уронив голову, бесильно плакала.

Виникий принимал эти слезы как проявление усердия.

Лида спустилась к озеру за водой.

Стоял ясный безоблачный день. Мягкими порывами подувал ветер. Озеро, запрятанное природой в глубокую каменную чашу, слегка волновалось; мириады солнечных бликов рябили дно – так чиста и прозрачна была вода.

Она немного посидела на берегу, наслаждаясь солнечным теплом. Потом решительно разделась и вошла в воду.

Купалась она недолго, вода была холодна. Но когда вышла на берег, почувствовала, как освежило и взбодрило ее. Ведь не купалась с самой школы! Она легла на горячую, замшелую по краям каменную плиту, закрыла глаза.

Солнце жгло плечи, ветер трепал рассыпавшиеся волосы, остро пахло нагретым мхом, у ног шуршали и всхлипывали волны. Ощущения эти были так глубоки и необыкновенны, что она никак не могла пересилить себя и встать. Не хотелось вставать, не хотелось натягивать на себя черное и душное платье послушницы!

Были мгновения, когда Лида с трепетом подумала: для чего весь этот кошмар – пещера, молитвы, этот дряхлый старец со своими заупокойными стихами? Но это – только мгновения.

Уже в следующую минуту мысль эта показалась дерзкой и кощунственной. («Почему я осуж-

даю? Потому что не познала самое себя!») Она тут же отогнала ее и, вскочив, начала одеваться. Зачерпнула котелком воды и, сгорбившись, торопливо зашагала к пещере.

Виникий, узнав, что девушка искупалась в озере, был обеспокоен. Он долго молился за нее, потом встал и изрек: «Нельзя, дочь моя, пройти по жизни духовной, не подвергаясь искушениям. Но не может быть такого искушения, которого бы не перенес человек, укрепляемый силой божьей!»

– Отец Виникий! – решила возразить Лида (купание на нее подействовало, что ли?). – Сказано: не осуждай! А вы меня постоянно осуждаете...

Это страшно не понравилось Виникию. Слепив губы в ниточку, он долго смотрел в лицо послушнице своим подлобным взглядом, сдержанно сказал:

– Я не осуждаю, дочь моя, а обличаю. Обличаю же – чтобы исправить. А исправляю – чтобы спасти.

Нет, старец Виникий знал свое дело тонко!

Послушнице, не устоявшей перед соблазном и искупавшейся в озере, было положено наказание – тысяча поклонов во искупление греха.

62 В поисках ягоды Лида ушла далеко. Она спускалась по крутым склонам, переходила каменные реки осыпей, продиралась сквозь жесткий и колючий кустарник.

Она так привыкла к безлюдью и тишине здешних мест, что, увидев человека, вздрогнула и отступила назад.

Человек был далеко. Он стоял на краю скального обнажения и что-то писал в тетрадку. На нем были сапоги и белая парусиновая шляпа с откинутой назад сеткой.

Девушка хотела было уже незаметно повернуть назад, но в этот момент человек поднял с земли молоток с длинной ручкой и, опираясь на него, пошел в ее сторону.

Путаясь в полах платья, Лида побежала. Она спряталась за громадный, расколотый надвое валун. Геолог прошел совсем близко. В расщелину она увидела его лицо – молодое, белобровое, с коричневыми от загара скулами. Он что-то пел вполголоса и щурил глаза.

Удивительно знакомые глаза! Где она уже видела похожее на это лицо? И тут же вспомнила: дорога на Горно-Алтайск, бушующий внизу

поток, отара и молодой скуластый погонщик с папиросой в дрожащей руке.

Она так заволновалась, стоя за валуном, что едва геолог скрылся, поставила корзину на камни и сама опустилась рядом. «Господи, что же это? Я уже пугаюсь живого человека!..» Чтобы успокоиться, она стала перебирать собранные ягоды. Несколько ягодок положила в рот. Но их кислый вкус вызвал тошноту. Она вдруг поднялась, постояла – и так поддала корзину, что та покатила, разбрызгивая на камнях ягоды.

Весь вечер и все утро следующего дня она думала об этом геологе. А к полудню, недомолившись, что с ней случилось впервые, схватила корзинку и пошла в горы. Она долго искала тот расколотый валун. Наконец нашла, присела рядом, стала ждать. Ей почему-то казалось, что геолог должен пройти именно здесь.

Она ждала долго и терпеливо, и когда геолог в самом деле появился из-за скалы и прошел поодаль мимо, она опять так разволновалась, что позабыла спрятаться. Но геолог все равно не заметил ее. По-видимому, этой дорогой ходил он всегда.

Потом она стала часто бывать здесь.

Если геолог почему-то не проходил, Лида возвращалась как потерянная, и никакие молитвы и псалмы не шли в голову. Старец Веникий, должно быть, заподозрил что-то, потому что всякий раз, заглянув в полупустую корзинку, недоверчиво и пристально смотрел послушнице в лицо. Но запретить ходить по ягоду не мог. Последнее время они питались исключительно ягодой и сухарями: хмурый посланец от Миронии задерживался.

Однажды, когда она сидела у валуна и ждала, геолог прошел, сильно хромая. Брюки на коленке разорваны. Она подумала, что могла бы хорошо заштопать, ведь она швея! Однако на следующий день брюки на геологе оказались починенными, и заплатка была пришита так аккуратно, что в этом сразу была видна женская рука.

Девушку так огорчило это открытие, что она ушла и не приходила несколько дней. Потом не выдержала, прибежала снова. Прождала день, а геолога так и не увидела. Не приходил он и на второй день, и на третий.

Лида забеспокоилась. Просидев однажды с полдня впустую, она пошла в ту сторону, куда

уходил геолог. Спустилась в одну из ложбин и увидела на полянке следы лагеря: вбитые колья, кучи консервных банок и черное пятно давно остывшего костра...

Как-то подметая пещеру, Лида в одной из расщелинок вымела обломок женского гребня – и оторопела. Чтобы не закричать, она стиснула рот ладонью: у Кати был точно такой!

Она выбежала на площадку. Веникий, сгорбившись, сидел возле плоского валуна, заменявшего им иногда стол. Зажатым в прозрачном кулачке камешком расщелкивал на валуне орехи. Аккуратно собирал раздробленное ядрышко, отправлял в рот. Потом долго, вдумчиво жевал, поднимая глаза к небу, и выражение лица было таким, будто он не желудок насыщал, а общался с самим Господом Богом.

Задохнувшись от омерзения и только что пережитого испуга, Лида торопливо пошла по тропинке вниз – так, без цели, чтобы только прийти в себя. Теперь под каждой кучей наваленных камней мерещилась ей Катина могила.

Она разжала ладонь, стала внимательно рассматривать кусочек гребня: господи, неужели все-таки Катя?..

В этот вечер, лежа в холодной пещере и слушая тяжкие болезненные вздохи спящего за пологом в углу Веникия, она впервые с колотящимся сердцем подумала: надо бежать. Во что бы то ни стало бежать – от этого выжившего из ума старика, от его заспунявленных до лоска книг, именуемых святыми. От его страшной, постоянно напоминавшей о смерти религии. И еще одна запоздалая догадка терзала: для «спасения» ли в самом деле упрятана она сюда? А не для того ли, чтобы прислугой быть немощному Веникию?

Прежде, еще живя у тетки в Горно-Алтайске, она непрестанно мучила себя мыслью: для чего живем? И не находила ответа. Если видела она людей с веселыми смеющимися лицами, веселость их казалась неискренней, фальшивой. Грубость, корыстолюбие людей, забота только о собственном благе представлялись ей обычными. И только воспоминание о молодом погонщике, так самоотверженно, с риском для жизни спасшим на ее глазах отару, смущало. Для этого случая она готова была сделать исключение.

Религия, которая сулила разрешить ее сомнения, отвечала на мучивший ее вопрос так. Че-

ловек – изгнанник неба, а земля – страна его ссылки. Кратковременное пребывание на земле дано ему для наказания. Если он удовлетворит Бога своей жизнью, значит, вернется на небо. А если же сгубит положенное ему время, употребив на занятия суетные и служение греху, то низвергнется навечно в ад. И поэтому, живя на земле, кайся, очищай себя от грехов и думай, думай о смерти.

Но она не хочет думать о смерти! Она хочет жить, ведь ей еще так мало лет! Теперь она не ставит себе вопроса – для чего жить. Просто жить, находиться среди людей, работать, не истязать себя постом, носить легкие красивые платья, рвать цветы, купаться и загорать, любить...

С тех пор как она поселилась здесь, не раз подолгу смотрела на небо. Но не видела там ничего, кроме облаков, да иногда тонких серебристых полос, оставляемых в синеве высотными самолетами.

Она поднялась со своей лежанки, тихо вышла. Темное ослизлое небо было без единого просвета. Ветер, холодный и стремительный, ударил в глаза, рванул из рук накидку. Глухо и тревожно прогрохотало эхо каменного обвала.

Куда бежать, если на дворе декабрь, а кругом на десяток километров только угрюмые горы, скалы, колючие заросли – и ни единой живой души.

...Зима прошла для Лиды как дурной нескончаемый сон. Сухие песчаные ветры, дующие с высокогорных степей, сменялись затяжной изморосью. Мокрый снег вперемешку с дождем покрывал блестящим панцирем камни. Постели и одежда, пропитанные сыростью, леденили тело. Запах керогаса вызывал головную боль и тошноту.

Инок Веникий со сморщенным, как печеное яблоко, лицом подолгу сидел перед огнем, кутаясь в лохмотья... Сухой отрывистый кашель валил его на пол. Лишения, которым он себя подвергал, губили его тело, но не трогали, казалось, его дух. Бормотания его все больше походили на бред.

– Три вещи века сего страшат меня! – поборов очередной приступ кашля, хрипел Веникий. – Не вем, когда умру... Не вем, как умру... И не вем, что ожидает меня по смерти!.. А тебя, – оборачивался, ища воспаленными глазами по-

слушницу, – тебя что страшит? Огонь адский, отступница!

И он начинал церковным языком длинно и путано излагать происхождение греха или рассуждать, какие подвиги важнее в деле спасения: внешние или внутренние...

Наступил апрель. С востока подуло теплом. Долины окутались дымкой зелени. От щедрого весеннего солнца таяли, сжимались снежные шапки на хребтах.

Однажды вечером над горами собрались тучи, и с наступлением ночи разразилась первая гроза.

Со скрежетом и треском разламывалось небо. Громовые раскаты эхом метались среди гор, словно чугунные мячи. Всплески молний обжигали глаза.

Веникий выполз из-за своего полога, руки его подламывались. Лида, свернувшись на лежанке, увидела, как старец попытался встать, но тут же упал, и чепец с головы погнало залетевшим порывом ветра. Она вскочила и подбежала к нему.

– Зажги... лампадку... – захрипел Веникий. – Читай... на исход души...

Девушка хотела помочь, но старец оттолкнул ее руки и уполз назад, за полог, пробормотав:

– Небо ужасается... земля трепещет, читай, умираю...

Порывы ветра колебали пламя. Ожившие тени наполнили катакомбу движением. Лида, испуганная и оглушенная, опустилась на колени и стала читать. Собственный голос казался чужим, а смысл слов до нее не доходил.

Вдруг лампадка погасла. Ломая спички, она долго зажигала трепещущий язычок. А когда зажгла, старец стоял на нетвердых ногах, хватаясь за полог, и хрипло, с трудом дышал.

Ощутив внезапно весь ужас своего положения, она замолчала.

– Читай! – проговорил тяжело Веникий.

Молнии рвали темноту, в их мертвенно-белесых всплесках взгляд старика каменел.

– Почему замолчала? Или Бог не дает тебе силу молитвы, отступница?..

Отпустив полог, он с усилием подошел к ней. Не спуская лихорадочного взгляда, протянул в обвисающем рукаве руку, точно слепец.

Лида невольно отступила, но сзади была стена.

Костистые ладони скользнули по ее покрытой голове, плечам, коснулись груди. Безгубый черный рот Викикия прыгал в гримасе, и непонятно было – то ли плачет он, то ли так жутко смеется.

– Молодая... здоровая... – стонал он и вдруг, ухватившись цепко за вырез, рванул холст, обнажив ей плечи, грудь.

Лида вскрикнула, инстинктивно прикрываясь книгой, которую держала в руке; она была на грани обморока.

– Я умру, – стонал, корчился в бессильной злобе Викикий, – а ты... это тело будет жить... искать наслаждения... насыщения...

Его качнуло от приступа кашля, он оперся о стену, стал сползать, потом потащился, как летучая мышь, на свою лежанку и там затих. Долго еще слышался его кашель, свистящее дыхание.

Лида бездумно и оступело читала молитву, не решаясь даже взглянуть в сторону инока. И только когда книга выскользнула из онемевших рук

и гулко ударилась о землю, она вздрогнула, подняла глаза.

Инок был недвижим. Он лежал, вытянув руки, задрав включенную бороду.

Девушку охватило отчаяние. Темные закоптелые своды пещеры навалились на нее своей тяжестью. Дрожа и всхлипывая, она стала пятиться к выходу.

Гроза уже прошла. Моросил редкий пронзительный дождь. Западная половина неба была наглухо заложена тучами, и там время от времени вспыхивало и грохотало.

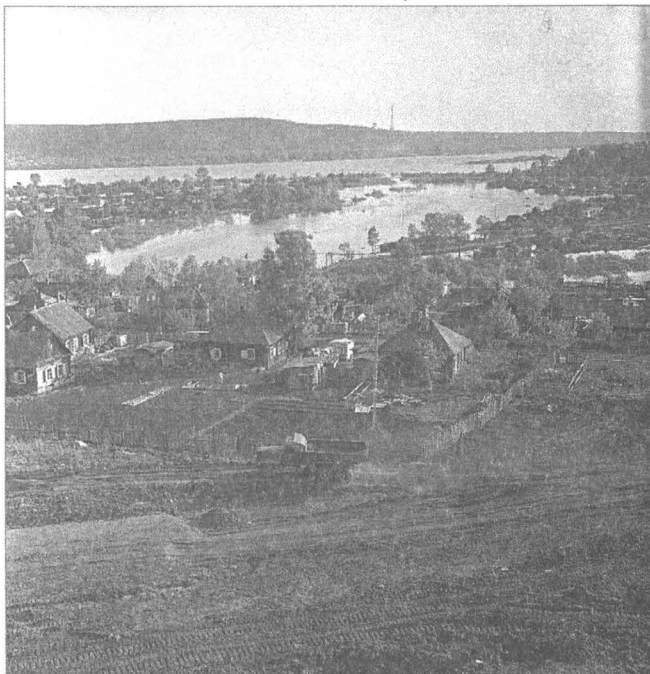
На востоке светлело. Сломанная грань далекого хребта четко выделялась на горизонте.

Несколько минут она стояла в мучительном смятении, со страхом глядя в черную дыру входа. Никакая сила теперь не заставила бы ее войти туда снова!

Потом, оскользаясь, падая, побежала вниз, мимо озера и дальше – где за гранью хребта перемелькивались звезды и белела узкая холодная полоска зари...



Домашний архив



Юрий Дьяконов. Заречные улицы. Кемерово